

Алексей Митрофанов
Рождественка

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов

**Рождественка. Прогулки
по старой Москве**

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Рождественка. Прогулки по старой Москве / А. Митрофанов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-908583-2

Улица Рождественка — самая провинциальная из всех улиц московского центра. Тем не менее, именно в этом — привлекательность Рождественки. Она не заносчивая, не требовательная, не пафосная. Улица абсолютно соразмерна самому простому обывателю.

ISBN 978-5-44-908583-2

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Рождественка Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2018

ISBN 978-5-4490-8583-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Улица Рождественка, пожалуй, самая провинциальная из всех улиц московского центра. Дома невысокие. Социально значимых объектов – кот наплакал. «Детский мир», гостиница «Савой», архитектурный институт, Рождественский монастырь. Последний, впрочем, под сомнением – чай, не Троицкая лавра.

Тем не менее, именно в этом – привлекательность Рождественки. Она не заносчивая, не требовательная, не пафосная. Она абсолютно соразмерна самому простому обывателю.

И за то – любима.

Повседневные бани

Здание Центральных бань (Театральный проезд, 3) построено в 1893 году по проекту архитектора С. Эйбушитца.

В наши дни по адресу Театральный проезд, №3 – высокое, мощное, во всех отношениях столичное здание. Оно памятно старым москвичам по баням – некогда, в те времена, когда здесь был не Театральный и, к тому же, не проезд – проспект Маркса, проходящий мимо пешеход обычно вздрагивал: так неожиданно в центре Москвы было вдруг уловить запах веника, пара и мыла. Бани носили гордое имя «Центральные» и в негласной борьбе занимали второе, почетное место, после Сандунов, в те времена известных на весь мир.

А в позапрошлом веке тут располагалась не менее известная гостиница Дюссо – одна из престижнейших и, вместе с тем, одна из самых противоречивых в городе.

В частности, здесь в июне 1866 года останавливался Федор Достоевский. Он тут провел всего несколько дней. После чего переехал к сестре в Люблино. Переезд мотивировал так: «Нестерпимая жарница, а пуще всего знойный ветер (самум) с облаками московской белокаменной пыли, накопившейся со времен Ивана Калиты (по крайней мере, судя по ее количеству) заставили меня бежать из Москвы. Работать положительно невозможно».

Впрочем, скорее всего, причина была не столько в пыли и в жаре, сколько в сложном характере Федора Михайловича. Во всяком случае, Лев Николаевич Толстой весьма охотно бывал у Дюссо. Больше того, он поселил сюда, в одну из самых респектабельных гостиниц нашего города, своих героев – Левина, Вронского и Каренина.

Вронский – тот вообще предпочитал эту гостиницу всем мыслимым соблазнам города Москвы: «Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. „Клуб? партия безика, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. Chateau de fleurs, там найду Облонского, куплеты, сапан? Нет, надоело... Поеду домой“. Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном».

Кстати, эта респектабельность частенько выходила постояльцам боком. Здесь, по демократической западной моде, вывешивали имена посетителей на специальную доску. И место-

положение многих гостей (как, например, Каренина), против их желания, становилось известным всему городу. А московские бездельники забежали к Дюссо просто так – посидеть в буфете, пообщаться с постояльцами и, конечно, посмотреть на доску – не приехал ли знакомец.

Опять же из Толстого:

« – Ну как не грех не прислать сказать! Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! – говорил Степан Аркадьич, всовываясь с головой в окно кареты. – А то я бы зашел. Как я рад тебя видеть! – говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. – Как не грех не дать знать! – повторил он.

– Мне некогда было, я очень занят, – сухо ответил Алексей Александрович».

Может быть, именно из-за этой традиции нервный Достоевский и удрал из прекрасной гостиницы. А может быть, из-за долгов – в центре первопрестольной столицы, да еще с такой страшной доской была высока вероятность встретить кого-нибудь из многочисленных кредиторов. Впрочем, все это – досужие домыслы. Вероятнее всего, писателю и вправду не понравился столь специфический московский климат. И один из современников, А. Милюков косвенно это подтверждал: «В июле он писал мне из села Люблина, куда, по его словам, бежал из гостиницы Дюссо, потому что номер его в жаркие дни „походил на русскую печку, когда начнут в нее сажать хлебы“, и, следовательно, работать там не было никакой возможности».

Тем не менее, в свой следующий приезд в Первопрестольную писатель снова поселился у Дюссо. На этот раз все было, вроде бы, нормально, и его супруга вспоминала: «Каждое утро мы отправлялись осматривать достопримечательности города... Федор Михайлович, москвич по рождению, был отличным чичероне и рассказывал мне много интересного про особенности Первопрестольной».

Видимо, не раздражали Достоевского ни любопытные бездельники, снующие в буфете, ни доска, где было крупно выведено имя знаменитого писателя. Однако же, сама гостиница Дюссо – наглядное напоминание о том, насколько малопредсказуемы те результаты, к которым, вроде бы, четко ведут наши намерения. Завели европейскую модную доску – потеряли часть клиентов, из числа ценителей инкогнито. Сделали модное кафе – опять же часть клиентов как отрезали.

А вообще, в Москве каких гостиниц не наделаи – на любую обязательно найдется свой постоялец, да и не один. Ибо не так уж много в городе гостиниц.

Кстати, именно гостинице «Дюссо» молва приписывала гибель знаменитого «белого генерала» Скобелева. Но действительность была совсем другая. Владимир Гиляровский провел целое расследование:

«Говорили много и, конечно, шепотом, что он отравлен немцами, что будто в ресторане – не помню в каком – ему послала отравленный бокал с шампанским какая-то компания иностранцев, предложившая тост за его здоровье... Наконец, уж совсем шепотом, с оглядкой, мне передавал один либерал, что его отравило правительство, которое боялось, что во время коронации, которая будет через год, вместо Александра III, обязательно объявят царем и коронуют Михаила II, Скобелева, что пропаганда ведется тайно и что войска, боготворящие Скобелева, совершат этот переворот в самый день коронации, что все уж готово. Этот вариант я слышал и потом.

А на самом деле вышло гораздо проще.

Умер он не в своем отделении гостиницы Дюссо, где останавливался, приезжая в Москву, как писали все газеты, а в номерах «Англии». На углу Петровки и Столешникова переулка существовала гостиница «Англия» с номерами на улицу и во двор. Двое ворот вели во двор, одни из Столешникова переулка, а другие с Петровки, рядом с извозчиным трактиром. Во дворе были флигеля с номерами. Один из них, двухэтажный, сплошь был населен содержанками и девицами легкого поведения, шикарно одевавшимися. Это были, главным образом, иностранки и немки из Риги... И там на дворе от очевидцев я узнал, что рано утром 25 июня

к дворнику прибежала испуганная Ванда и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Одним из первых вбежал в номер парикмахер И. А. Андреев, задние двери квартиры которого как раз против дверей флигеля. На стуле, перед столом, уставленном винами и фруктами, полулежал без признаков жизни Скобелев. Его сразу узнал Андреев. Ванда молчала, сперва не хотела его называть.

В это время явился пристав Замойский, сразу всех выгнал и приказал жильцам:

– Сидеть в своем номере и носа в коридор не показывать!

Полиция разогнала народ со двора, явилась карета с завешанными стеклами, и в один момент тело Скобелева было увезено к Дюссо, а в 12 часов дня в комнатах, украшенных цветами и пальмами, высшие московские власти уже присутствовали на панихиде».

Бедная же Ванда после этого события получила прозвище «могила Скобелева».

* * *

Особенно же славилась здешняя кухня. Николай Некрасов посвятил ей и атмосфере, царящей там, не одну строфу:

У Дюссо готовят славно
Юбилейные столы;
Там обедают издавна
Триумфаторы-орлы.
Посмотрите – что за рыба!
Еле внес ее лакей.
Слышно «русское спасибо»
Из отворенных дверей.
Заказав бульон и дичи,
Коридором я брожу;
И так далее, так далее, так далее.

Чайковский же писал к фон Мекк: «Не могу также понять, отчего, будучи так чутки к музыке, Вы можете быть сторонницей Писарева, который доказывал, что любить музыку так же глупо, как любить соленые огурцы, и что Бетховен настолько же велик, насколько велик повар у Дюссо».

Впрочем, не совсем понятно, какой именно ресторан Дюссо имели в виду авторы – ведь заведение с аналогичным названием было и в Санкт-Петербурге. Не исключено, что оба заведения были одного примерно класса.

* * *

Теперь же – про бани.

Костюм может быть выходным и повседневным. Притом первый не обязательно лучше и даже дороже. Просто у них разные задачи. То же самое было и с банями.

Парадными, конечно же, считались Сандуновские. Они располагались на Неглинной – респектабельной, торжественной, престижной улице. Сюда ходили не затем, чтобы попариться или помыться. Визит в Сандуновские был событием и ритуалом – попить квасу, понежиться, легонько покурлесить, людей посмотреть и себя показать. Ну и заодно смыть недельную грязь. Да, иные москвичи ходили в Сандуновские чуть ли не каждый день, но это дело не меняет. Есть же люди, жизнь которых – постоянный праздник.

Повседневными же банями были так называемые «Хлудовские», или же, иначе говоря, «Китайские» (известные в советскую эпоху под названием Центральных). И расположение у них было гораздо менее престижным – в торговом, шумном месте, там, где в древности располагался пушечно-литейный двор («При речке же за Неглинной, протекающей в городе, стоит

и великокняжеская литейня, где льют большие орудия и колокола»). И задачи здесь решались несколько попроще: отдохнуть, помыться – и домой.

Нет, Хлудовские бани (названные так по имени владелиц, четырех наследниц хлудовского капитала) вовсе не были дешевкой для разнорабочих. Приметы роскоши, – всякие фрески, витражи, красное дерево и позолота, – в этих банях наблюдались. Один из современников строительства, некий предприниматель А. Вагурин взахлеб рассказывал своим приятелям-купцам:

– Бани будут чудом! Тратят деньги на постройку их без счету! Во главе стоит Левиссон, совершенно неопытный в стройке человек, позволяющий архитектору переделывать одну и ту же работу по несколько раз. Оконченную залу, уложенную плитками, приказывает сломать и вновь переделать на другого цвета плитки, после чего опять приходит и ему вновь не нравится, вновь ломают. Архитектор приводит художника-декоратора, который приказывает опять все ломать и вновь укладывать плитками другого цвета и размера. Одну из зал пришлось переделывать пять раз!

Купцы слушали и кивали головами. Да, капиталы хлудовских наследниц, – Клавдии, Прасковьи, Александры и Любви, – такую роскошь безусловно позволяли.

Воду же качали прямо из Москвы-реки по специальному водопроводу.

Нельзя сказать, чтоб москвичи здесь вовсе не встречались. Только, в отличие от Сандуновских, в некотором роде клубных встреч, они были случайными. Например, книгоиздатель Михаил Сабашников писал в своих воспоминаниях: «Оставив домашнюю ванну в распоряжении Софии Яковлевны и девочек, я забрал Сережу и поспешил в Центральные бани. Мы там сразу натолкнулись на нашего юрисконсульта Алексея Васильевича Шилова. Он страдал от ожирения и, не знаю, по совету ли врача, или по собственному разумению, чуть ли не ежедневно ходил в баню „спускать жир“. Низкого роста, с отвислым брюшком, с громадной лысиной, на которую он зачесывал сбоку жиденькие пряди волос, степенный и обстоятельный. Когда он, надев на свой горбатый нос золотые очки, внимательно, бывало, пробегал своими умными глазами какой-нибудь набросанный мною проект договора, он часто мне казался чрезвычайно характерным типом московского человека, каким-то перешедшим в наш век дьяком какого-нибудь государева приказа. Сейчас, в полном обнажении, с простыней на плечах, он сошел бы, пожалуй, за римского сенатора... Нас окружила банная публика, среди которой я узнавал в костюме Адама знакомых и обменивался приветствиями».

Словом, вполне себе клуб.

К примеру, как-то раз В. И. Танеев (композиторский брат и философ) здесь повстречал Льва Толстого. Он рассказывал об этом историческом свидании своей любимой матушке:

– Ну вот, и я, наконец, увидел вашего Толстого.

– Быть не может! Где?

– В центральных банях.

– Ну и что же?

– Ах, как он безобразен!

В атмосфере Сандунов, всегда приподнятой и в некотором роде пафосной, Лев Николаевич, возможно, не был бы столь омерзителен Владимиру Ивановичу.

Чуть ли не с самого начала в этих банях возникла любопытная традиция: здесь встречались и парились вместе представители разных московских диаспор. В одно время – немцы, в другое – французы, а в третье – британцы. Самыми колоритными были армяне. Они даже при самом невообразимом морозе после парилки танцевали во дворе.

Находилось при банях особенное, детское отделение – с множеством игрушек и особенной, специально обученной банщицей, закрепленной за каждым ребенком. А еще у этих бань был любопытный филиал. Не баня – пляж. Он находился на Хамовнической набережной, куда специально доставляли с Финского залива белый, мельчайший, нежнейший песок. Разумеется,

и прочая инфраструктура была на высоте. В частности, на пляже действовал горячий душ – по тем временам роскошь недостижимая.

* * *

Разумеется, не все в «Хлудовских» банях было безмятежно. В 1893 году в газетах появилось вот такое сообщение: «Вчера, в исходе седьмого часа вечера, в «хваленых», так называемых центральных банях Хлудова, на Китайском проезде, произошел страшный переполох. Дело в том, что в 10-копеечном помещении, находящемся во втором этаже громадного здания, в холодном отделении, под лавкой, на которой моются, произошел взрыв трубы парового отопления; удар был точно из пушки; отделение моментально наполнилось горячим паром; посетители подняли крики о помощи, причем в испуге шайками принялись выбивать окна, из которых в шести окнах были выбиты стекла и открыты рамы; многие нагими начали кидаться в окна; из них одиннадцать человек, падая на мощеный двор, получили сильные ушибы. Всех ушибленных подняли и отвели в те же бани, где им подано было медицинское пособие, но из потерпевших никто в больницу лечь не пожелал, а отправились в экипажах извозчиков по квартирам.

Слух об этом несчастии собрал многочисленную толпу у ворот бань, которые на это время вынуждены были запереть».

Ситуация усугублялась тем, что происшествие пришлось на начало апреля. Соответственно, несчастные помимо многочисленных ушибов вполне могли приобрести разнообразные простудные заболевания.

Но такое все же было редкостью, если не исключением. Чаще всего в тех банях если и случались неприятности, то незначительные. Например, такая: «Г. Пономарев, содержащий бани в доме Хлудова, на углу Неглинного и Театрального проездов, с наступлением летнего времени, ради экономии, начал топить не все номера своих „Китайских“ бань, а только некоторые из них, хотя публика, желающая омыть свои тела, допускается во все номера, как в топленые, так и в холодные».

Но это можно было все же пережить.

* * *

После революции в жизни «Китайских» бань, конечно, наступили перемены, и не самые приятные. Один московский обыватель занес в свой дневник грустную запись: «Был сегодня в Советской бане (бывшей Центральной). За вход 110 р. – это так, но вздумал там попросить остричь на ногах ногти и заплатил за такое буржуазное удовольствие 500 р. Если бы заранее спросил банщика о гонораре, то отложил бы эту операцию до дома, и поделом – не зная брода, не суйся в воду».

Однако роли между Хлудовскими и Сандуновскими распределялись так же, как до 1917 года.

Бани пытались переименовывать. Сначала к ним примерили название «Имени десятилетия Октября». Затем – «Имени Свердлова», «Имени Куйбышева». Намеревались им присвоить имя Жданова – ведь улица Рождественка во времена СССР звалась именно Ждановской. В результате осталось название безликое, но тем не менее почетное – Центральные.

Савойский отель

Здание гостиницы «Савой» (Рождественка, 3) построено в 1912 году по проекту архитектора А. Величкина.

11 февраля 1998 года обитатели «Савойя» были в панике. Еще бы – рядышком горит огромный факел – здание департамента морского флота. Все боялись, что огонь может пере-

броситься и на соседние дома. На крыше фешенебельной гостиницы, словно в войну, дежурили пожарные. Иностранцы спешно собирали чемоданы и переселялись от департамента подальше. Залы окрестных магазинов заволокло едучим дымом. «Снова урну подожгли», – возмущались ничего не ведающие кассирши.

Гостиница выстояла. Ей все нипочем.

* * *

В 1912 году на углу Рождественки и Пушечной по проекту архитектора В. А. Величина возвели роскошнейшее здание. В качестве заказчика выступила «Саламандра» – общество страхования от огня. Со стороны Рождественки расположился вход в гостиницу «Берлин». С Пушечной – в ресторан и собственно в правление страхового общества.

Его девизом было следующее: «Горю, но не сгораю». Современники, конечно, насмехались над девизом, но гостиница действительно ни разу не пострадала от огня.

А в 1914 году гостиницу пришлось срочно переименовывать. Поскольку в Первой мировой войне Берлин был вовсе не на стороне России. Назвали понейтральнее – «Савой». Значения этого слова практически никто в Москве не знал, а значит и придаться было не к чему.

Собственно, роскошной гостиница была совсем недолго. Начались трудности военного времени, затем – революционного, и в новую эпоху гостиница вошла каким-то вшивым общежитием. Ирма Дункан (приемная дочь Айседоры) и Аллан Росс Макдугалл так описывали пребывание американской танцовщицы в ресторане этого отеля: «Голодные, как волки, они пошли в обеденный зал, надеясь на хороший обед. В центре комнаты стоял один большой стол и несколько поменьше по сторонам. За центральным столом сидело с дюжину чумаzych, невымытых мужчин. Они были в шляпах и пальто и, громко глотая, хлебали из железных мисок темный, грязноватого вида суп, заедая его огромными ломтями черного хлеба. Это были «товарищи»! Айседора собралась присесть за их стол, хотя там стояли и другие столы поменьше, за которыми втроем можно было сидеть свободнее и в некотором уединении. Она приветствовала их радостно: «Хау ду ю ду, товарищи!» – даря им свою самую ласковую и простодушную улыбку.

Но товарищи продолжали есть, едва бросив в ее сторону взгляд, достаточный, чтобы представить себе этих «товарищей» персонажами Калло, – и затем вернулись к своему серьезному занятию – поглощению супа. Путешественницам пришлось в молчании ожидать, пока такого же вида алюминиевые миски с таинственным темным супом и три больших ломтя черного хлеба были выданы и им. Айседора с видом, дающим основание предположить, что она собирается пригубить прозрачный черепаховый суп на банкете у лорда-мэра, старалась попросить колдовское варево. Ирма сумела лишь донести свою ложку до миски, но поднять ее к губам уже не могла. Жанна, горничная, сидела молча и смотрелась раннехристианским мучеником».

Кончилось тем, что к ним пришел курьер и уже в номере скормил американским путешественницам термос какао с белым хлебом.

В те времена гостиница «Савой» носила гордое название – общежитие Наркоминдела. И описанные здесь «товарищи», наверное, имели самое прямое отношение к дипломатическим кругам молодой республики.

Здесь же проживал товарищ Блюмкин, член Компартии Ирана, а также останавливались знаменитые артисты – Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. При этом перед зданием «Савойя» постоянно пребывала огромная толпа зевак. Разумеется, ортодоксальные советские газеты возмущались этим фактом и рассуждали о том, как настоящий интерес к искусству подменяется бездумным обожанием кумиров.

Впрочем, зеваки к тем газетам не прислушивались.

Находил здесь кров и известный террорист международного масштаба Яков Блюмкин. Вытаскивал приятеля Есенина из очередной истории, когда поэт в который раз вступал в конфликт с законом.

Писал официальный документ:

«Подписка о поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции по делу гр. Кусиковых 1920 года октября месяца 25 дня, я нижеподписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по адресу гостиница «Савой» №136, беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей.

25/X 920 г.

Москва

Парт. билет ЦК Иранск. коммунистичес. партии».

Террорист с иранским партбилетом пользовался у властей доверием.

* * *

В тридцатые гостиница вновь стала набирать остатки старой роскоши. И, разумеется, обзаводиться новой, социалистической. Тут останавливались «прогрессивные» писатели – Ромен Роллан, Анри Барбюс, Джон Стейнбек. Правда, по сравнению с западным миром здесь было все-таки довольно аскетично. Но, к примеру, Стейнбеку, приехавшему со своим приятелем, фоторепортером Капой, достались вполне сносные апартаменты. Он так описывал свой номер: «У нас была большая комната. Позже мы узнали, что этот номер был предметом зависти для людей, которые жили в других номерах „Савойя“. Потолок – двадцать футов высотой. Стены покрашены в скорбный темно-зеленый цвет. В комнате был альков для кроватей с задерживающейся занавеской. Украшением комнаты был гарнитур, состоящий из дивана, зеркала, шкафа мореного дуба и большой картины до самого потолка. Эта картина внедрилась со временем в наши сны. Если ее вообще можно описать, то, наверное, так: в нижней и центральной части картины был нарисован акробат, лежащий на животе с согнутыми колесом ногами. Перед ним две одинаковые кошки выскальзывают у акробата из-под рук. У него на спине лежат два зеленых крокодила, и у них на головах – явно ненормальная обезьяна в царской короне и с крыльями летучей мыши. Эта обезьяна, у которой длинные мускулистые руки, через отверстия в крыльях держит за рога двух козлов с рыбьими хвостами. У этих козлов – нагрудники, которые оканчиваются рогом, протыкающим двух агрессивных рыб. Мы не поняли этой картины. Мы не поняли, ни о чем она, ни почему ее повесили в нашем гостиничном номере. Но мы стали думать о ней. И конечно же ночью нам стали сниться кошмары».

Самым же загадочным в номере Стейнбека (и, видимо, в других «савойских» номерах) была ванная комната. Дело в том, что вход в нее перегораживался собственно ванной. Поэтому желающему постоять под душем следовало сначала открыть дверь, затем протискиваться внутрь, заходить за раковину, после чего закрывать дверь и, лишь закончив эти упражнения, лезть в ванну.

Впрочем, у «савойских» ванн был еще один довольно ощутимый минус. В то время эта роскошь была в Москве большой диковинкой, и все друзья гостей столицы, проживавшие в дурновских, кривоколенных и подколокольных переулках, приходили в номера к своим гостиничным приятелям, чтобы помыться. Поначалу у приезжих скапливались целые очереди дорогих гостей с мочалками и полотенцами, а также с кипами нестиранных подштанников. Но со временем хозяева заветных ванн делались все строже и, стремясь к нормальной жизни, отказывали визитерам в банно-прачечных услугах.

Визитной же карточкой этой гостиницы был большой бурый медведь. Стейнбек так отзывался о нем: «На лестнице, на самом верху, стояло огромное чучело медведя в угрожающей позе. Но какой-то робкий посетитель оборвал когти на передних лапах, поэтому медведь

нападал без когтей. В полутьме верхнего зала от него постоянно шарахались новые клиенты „Савой“».

Впрочем, уже в то время гостиница была не только местом для проживания богатых иностранцев, но и неким клубом элитной молодежи из самой Москвы. Она любила собираться в ресторане. И Анатолий Рыбаков описывал в «Детях Арбата» такие встречи. Там бильярдист Костя заказывал «Герцеговину Флор», а после – салат, заливное, водку, мускат и запеченный карп – на горячее. Сегодня, разумеется, такой набор можно считать вполне обыденным, а по поводу «Герцеговины» большинство, пожалуй, лишь иронично ухмыльнется: даже самые малоимущие курильщики успели пристраститься к американским сигаретам с фильтром. Однако в начале тридцатых годов все это было в диковинку. И бильярдист, заигрывая с не искушенной в ресторанном быте Варей, явно рисовался:

«Повар в белом фартуке и высоком белом колпаке принес садок, на дне в сетке трепыхалась живая рыба.

– Как называется эта рыба? – спросил Костя у Вари и предупреждающе поднес палец, чтобы никто не ответил за нее.

– Вы ведь заказывали карпа, – ответила Варя, – он и есть, по-видимому.

– Но какой карп – простой или зеркальный?

– Не знаю.

– Это карп зеркальный, – пояснил Костя, – у него спинка высокая, острая, видите, и чешуя крупная. А у обыкновенного карпа спинка широкая и чешуя мелкая. Понятно?

– Понятно. Спасибо. Теперь я могу поступать в рыбный институт.

Костя кивнул повару, и тот унес рыбу».

* * *

В 1958 году гостиницу переименовали снова. Никому не ясное, зато неувлимо буржуазное слово «Савой» опять сменилось на «Берлин» – название столицы братской социалистической державы. Обстриженный медведь, который так понравился туристу Стейнбеку, вошел в новое качество: он стал уже не символом русской природы и души, а знаком города Берлина, изображенном на его гербе.

Изменился и характер этого отеля. Советский Союз стал чуть-чуть пооткрытее, прошла эпоха впечатлительных американцев, изумляющихся всякой мелочи, наш город стал уже не странным чудом-юдом, а столицей государства – лидера так называемого социалистического лагеря.

Прошел шпанистый антураж гостиничного ресторана. Словом, «Савой», то есть «Берлин», стал добропорядочной гостиницей, относящейся к разряду «высший Б», с 22 местами первой категории, 39 местами третьей категории и 22 «люксами».

«Бюро обслуживания предоставляет следующие виды услуг: химчистку и глажение одежды, ремонт одежды, ремонт обуви, продажу билетов в театры и на концерты.

На 1-м этаже работают киоск по продаже сувениров, почтовое отделение. Для иностранных гостей – прокат легковых автомобилей с услугами водителя, услуги гида-переводчика, организация дегустации блюд в ресторанах столицы, организация турпоездки в различные города Советского Союза».

Разумеется, без соответствующей «организации» иностранцы не могли проехать по «различным городам Советского Союза», так что эта услуга, мягко говоря, навязывалась. Зато в ресторане играл на скрипке будущая знаменитость – композитор Виктор Чайка.

Иллюзионист же Игорь Кио описывал забавную историю, случившуюся с ним в этом отеле благодаря его довольно экзотической фамилии: «Рядом с Союзгосцирком на Пушкинской улице находился ресторан «Берлин». То есть, он и сейчас там, но называется «Савой». Мы много времени проводили в Союзгосцирке и часто заходили в «Берлин» выпить, перекусить.

Нас все знали в лицо, и проблем попасть в ресторан не бывало, хотя в те годы на дверях гостиниц и ресторанов «Интурист», даже пустовавших, вывешивали табличку «Мест нет» и людей «с улицы» не пускали.

Однажды, как-то зимой, перебегаем мы из Союзгосцирка в «Берлин» – стучу, прошу открыть двери, но незнакомый швейцар качает головой в фуражке, мол, не пущу. Я его пома- нил рукой, показываю: «Приоткрой на цепочке». Приоткрыл. Я: «Передай, пожалуйста, метр- дотелю, что пришел Кио». Он изобразил лицом, что понял, исчез в глубине, а дверь опять захлопнул. Через две минуты возвратился и сам уже подзывает меня пальцем – и в приоткры- тую дверь объявляет: «Пива нет!»».

Тот же иллюзионист рассказывал еще одну занятную историю, случившуюся в том же ресторане: «Помню, я приехал из гастролей по Скандинавии, и мы в ресторане гостиницы „Берлин“ отмечали это событие. А Фрадкис (Леонид Фрадкис, администратор цирка на Цвет- ном бульваре. – АМ.), когда выпивал, становился очень шумным. Не скандальным, а просто шумным – очень громко разговаривал... К нему подошел человек и сказал: „Я бы попросил вас говорить чуть потише...“ – „А кто вы такой, – спросил Фрадкис, – чтобы учить меня, как мне разговаривать?“ Тот протянул ему красную корочку, где было написано „оперуполномоченный Комитета государственной безопасности“. Фрадкис долго смотрел на корочку, долго смотрел на ее владельца, а потом спросил: „А права человека?..“»

Нужно жить в ту эпоху, чтобы по достоинству оценить эти две истории.

* * *

Но наступила перестройка. Ресторан отреставрировали (силами югославской фирмы), сделали совместным (советско-финляндским) предприятием и вернули исконное историче- ское название – «Савой» (то, что «исконным» было все-таки «Берлин», пожалуй, никому и в голову не приходило). Медведя за ненадобностью (как уже неактуальный герб Берлина) передали в «Метрополь». И началась новая жизнь. Роскошная до невозможности.

Правда, поначалу тут устраивались всевозможные «фуршеты» и «коктейли», на которые иной раз попадали не слишком рафинированные господа в китайских майках и отечествен- ных свитерах. Больше того, в «Савойе» устраивали угощение для детей-сирот. «Столы были сервированы по высшему классу: салаты, лососевое масло, котлеты из индейки, экзотические пирожные, кофе, мороженое... Вышколенные официанты по привычке были готовы выпол- нить любые капризы гостей, но таковых не последовало», – сообщала пресса.

Но со временем подобные мероприятия из моды вышли. А на приглашениях в «савой- ский» ресторан теперь указывается форма одежды. Смокинг или фрак.

Горячий привет мертвеца

Доходный дом (Пушечная улица, 4) построен в 1902 году по проекту архитектора А. Остроградского.

Гостиница «Савой» выходит на две улицы – Рождественку и Пушечную, названную так по старому литейному двору, располагавшемуся здесь в средневековье. Не удивительно, что самой стратегически значительной продукцией, которая тут выпускалась, было не что-нибудь, а именно пушки.

Со временем о том воинственном дворе полностью позабыли. Переулок стал ассоции- роваться больше с развлечениями, более-менее культурного порядка. Театральное училище на углу с улицей Неглинной, та же гостиница «Савой». И Дом учителя. И там же – Госцирк.

Появление учительского клуба в городе Москве симптоматично. Одной из основных задач советской власти было уничтожить безграмотность. Соответственно, профессия учителя

сразу же сделалась одной из элитарных, пусть подчас только на словах. Решать же эту самую задачу довелось наркому просвещения Луначарскому. Он принялся за дело с невиданным энтузиазмом.

В одном из писем родственникам сообщал: «Но главная работа – культурно-просветительная городская. Сегодня целый день объезжал городские училища. Осмотрел одну начальную школу, одно мужское и одно женское 4-классное училище и одну городскую женскую гимназию, пока открывшую только два класса.

Конечно, как водится, мне показывали казовый конец (выполненный напоказ. – АМ.). Надо еще поездить и самому, без Бельгарда, но пока впечатление чрезвычайно хорошее. 4-классные училища, лучшие, по крайней мере, поставлены образцово, учителя и учительницы полны рвения и дружно работают.

Надо поскорее созвать собрание и успокоить педагогическое стадо, которое в ужасе от мысли, что во главе их ведомства стоит большевик!»

Он вообще уделял очень много внимания тому, чтобы понравиться интеллигенции: «Сильно работаю по приручению интеллигенции. В студенчестве начинается прилив к нам понемногу... Мой 2-й публичный отчет сопровождался большими овациями. Пока дело понемногу улучшается. Массу грубых ошибок совершают все же наши большевистские военные бурбоны, ошибок, от которых морщишься, как от физической боли. Но что же поделаешь? Ведь и та сторона, умеренные социалисты бешено борются с нами. Твердая власть, увы! необходима, это приходится проглотить».

Луначарский и вправду радел за образование, организовывал по всей стране школы и рабфаки по ликвидации неграмотности, заботился о быте педагогов из глубинки. С отчаянием зачитывал по телефону Ленину тревожные учительские телеграммы: «Шкрабы голодают». Правда, тот долго не мог понять, кто именно такие эти шкрабы – вероятно, крабы в каком-нибудь аквариуме. Приходилось объяснять, что шкрабы – это «школьные работники», новая аббревиатура.

Даже Ленин осадил тогда Анатолия Васильевича – дескать, разве можно называть таким поганым словом педагогов?

Результат не замедлил сказаться. Только в 1920 году в стране научились читать и писать около трех миллионов человек, а всего за первые три года новой власти – около семи. Правда, Закона Божьего в новой школьной программе не было. Больше того, обучение проходило на жесткой атеистической платформе.

А юрист Анатолий Кони, человек, которого было бы трудно заподозрить в особенных пристрастиях к большевикам, писал про Луначарского: «Это лучший из министров просвещения, каких я когда-либо видел».

В таких условиях появление особого учительского дома – необходимость и, можно сказать, неизбежность.

* * *

Именно на сцене этого учительского клуба Владимир Высоцкий сыграл свою первую театральную роль. Это состоялось в 1959 году. Сыграл же Владимир Семенович роль Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского. То был учебный спектакль. Высоцкому поставили «пять».

А Госцирк описывал Юрий Никулин: «В коридорах людно. Толпятся артисты, режиссеры, авторы – кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит коромыслом.

Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы и долго потом по всем комнатам искал женщину – страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и Таню. Долго я считал, что страховать

свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным прибором убило на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами Госстраха.

К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом – сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает:

– В цирке умер одnogорбый верблюд. Директор говорит завхозу:

«Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда».

«А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одnogорбый?» – спрашивает завхоз.

«Все равно срежут наполовину»».

Ну чем не профессиональный клуб?

Уже упоминавшийся фокусник Игорь Кио рассказывал об управляющем «главка», личности незаурядной: «Феодосий Георгиевич Бардиан управлял Союзгосцирком около двадцати лет – с начала пятидесятих годов. В прошлом он полковник, политработник. Как коммуниста его „бросили“ на цирк. Говорят, что кандидатуру управляющего утверждал сам Сталин. Бардиан, безусловно, был умным человеком и для развития цирка сделал много. Он создал, я бы сказал, цирковую империю. Построил в Советском Союзе порядка семидесяти пяти зданий цирка. В каждом городе, где есть цирк, он построил и гостиницы для артистов. В те годы это было особенно важно, поскольку многие артисты, напоминая, не имели ни прописки, ни своего жилья. При Бардиане начали создаваться дома отдыха и пансионаты для „цирковых“. Он пробил специальные пенсии, по аналогии с балетными. Артисты физкультурно-акробатических жанров, артисты-дрессировщики получили право на льготную пенсию при двадцатилетнем стаже. Это великое дело. Правда, человек, ступивший на манеж, уже крайне редко меняет профессию, скорее переходит из жанра в жанр, но редко уходит на пенсию. А может быть, и лучше уйти – не „пересиживать“ свой актерский срок».

Бардиан, что греха таить, был не без странностей: «Когда приподняли „железный занавес“ и мой отец получил возможность гастролировать за рубежом, он после поездки в Японию зашел как-то к Бардиану и сказал: „Феодосий Георгиевич, вы знаете, что я человек приличный, что мне от вас, в общем, ничего не надо, что все у меня уже есть, но мне просто было бы очень приятно, если бы вы приняли от меня этот подарок, поймите меня правильно“. И подарил ему хорошие японские часы в красивой коробке. И сразу вышел из кабинета. Прошло полгода, отец ездил работать в Ленинград, а когда вернулся в Москву, снова пришел к Бардиану – решить какие-то текущие вопросы. Бардиан всегда хорошо относился к нему – и все быстро решил, но когда отец уже попрощался, задержал его: „Одну минутку, Эмиль Теодорович“. Подошел к сейфу, открыл дверцу и спросил: „Вы ко мне относитесь с уважением?“ – „Да, конечно“. – „И я к вам отношусь с уважением. Вы не хотите, чтобы между нами пробежала черная кошка?..“ Короче, он вынул из сейфа этот футляр с часами и заставил моего отца забрать подарок обратно».

Конечно, Бардиан был начальником старой формации, который все решал приказами, но человеком он оставался, повторяю, умным и неплохим. При нем больших глупостей почти не делалось. Другой разговор, что, спустя восемнадцать или там сколько-то лет, он погорел на слабости, которая была ему совершенно несвойственна. Бардиан считался настолько авторитарным и серьезным начальником, что едва ли не все смотрели ему в рот, – и уж по линии личных удовольствий он, будь половчее и смелее, мог бы добиться всего, чего только пожелал бы. Он, однако, всегда игнорировал женщин. Но вот под финал карьеры неожиданно влюбился в одну даму, работавшую в управлении, отнюдь не блиставшую красотой и юностью... Человек он был сильный – на грани какой-то сталинской ненормальности. Помню, у него случилось горе – погибла дочь (попала под поезд), и все, когда узнали, очень переживали за него.

Но когда наутро после трагедии к нему зашли принести искренние соболезнования ведущие артисты, начальники отделов, он коротко поблагодарил и тут же сказал: «Но работа есть работа. Прошу всех на свои рабочие места».

Такой был человек – вот и не скажешь, что главный циркач государства.

Впрочем, не менее своеобразным был последователь Бардиана. Кио рассказывал о нем в таких словах: «Пришедший на смену Бардиану Михаил Петрович Цуканов работал секретарем парткома Министерства культуры СССР. По-моему, до назначения его в Союзгосцирк он в цирке никогда не бывал. И в делах наших ничего не понимал, не разбирался. Но, человек важный и значительный, придя в цирк, он без сомнений взялся за дело. И уже через неделю выглядел «крупным специалистом» в цирковом деле. Я не зря говорю об этом с иронией.

Примерно через неделю после назначения Цуканова мы собрались на гастроли в Турцию и пришли к управляющему за напутствием, хотя нового начальника практически не знали. В кабинете собралось человек шестьдесят-семьдесят – наш коллектив. Цуканов бодро поздоровался и вдруг спрашивает: «Инспектор манежа присутствует?» Ну а как же! Инспектор манежа встает. Начальник обращается к нему: «Ну как, все в порядке?» Тот отвечает: «Все в порядке», не совсем понимая, почему именно ему адресован вопрос. Следующий вопрос ему же: «Ну что, тросы и чикеля взяли?» Тросы – это специальный трос для подвески воздушных номеров, а чикеля – специальные приспособления для подвески (я сорок лет в цирке и все равно точно не могу объяснить, что такое чикеля). Цуканов этим своим вопросом как бы подчеркнул, что уже глубоко влез в цирковые дела и знает все проблемы, включая мелочи... Так сказать, был той закваски, что он все понимает лучше всех. Разговаривать с Михаилом Петровичем было очень трудно. Типичный советский номенклатурщик. И никто не удивился, когда через пару лет его из цирка перевели не куда-нибудь, а в кремлевские музеи – директором, на что Анатолий Андреевич Колеватов, его сменивший, остроумно пошутил: «Ух, у Мишки работа – просто позавидуешь. Какие заботы? Только смотри, чтобы Царь-Пушку не сперли»».

К счастью, Колеватов оказался мил и адекватен. Но в конце своей карьеры погорел на взятках. Словом, как писал Хармс, «хорошие люди не умеют поставить себя на твердую ногу».

* * *

Кстати, до революции и в этом доме, построенном А. Остроградским, размещалась гостиница – знаменитая «Альпийская роза», в которой, в свою очередь, зародилась известная литературная организация. Гиляровский о том сообщал: «Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане „Альпийская роза“ на Софийке. Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А. И. Барцал, а в другом – литератор, историк театра В. А. Михайловский – оба бывшие посетители закрывшегося Артистического кружка. Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице».

* * *

В «Альпийской розе» находились также номера для постояльцев. Номера пользовались популярностью в среде российских декадентов. Один из современников, искусствовед Л. Сабанеев вспоминал: «Я и Поляков должны были пойти на какой-то концерт. Зашли по дороге в гостиницу «Альпийская роза», где жил художник Российский, чтобы взять его с собой. У Российского сидел Бальмонт, и у него уже было настроение вздернутое – до нас тут пили коньяк.

Так как Бальмонт не хотел (да и не мог) пойти на концерт, решили, что пойдем вдвоем, а он посидит тут, нас подождет. Для безопасности, видя его состояние, сказали служащему, чтобы ему ни в коем случае не давать ни вина, ни коньяку, сказать, что «нет больше».

Мы ушли. В наше же отсутствие произошло следующее. Оставшись один, Бальмонт немедленно спросил еще коньяку. Ему, как было условлено, ответили, что коньяку нет. Он спросил виски – тот же ответ. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколона и всю ее выпил. После того на него нашел род экстаза. Он потребовал себе книгу для подписей «знатных посетителей». Так как подобной книги в отеле не было, то ему принесли обыкновенную отельную книгу жильцов с рубриками: фамилия, год рождения, род занятий и т. д. Бальмонт торжественно, с росчерком расписался, а в «роде занятий» написал: «Только любовь!» Что было дальше, точно выяснить не удалось, но когда мы вернулись с концерта, то в вестибюле застали потрясающую картину: толпа официантов удерживала Бальмонта, который с видом Роланда наносил сокрушительные удары по... статуям негров, украшающим лестницу.

Двое негров, как трупы, с разбитыми головами валялись уже у ног его, сраженные.

Наше появление отрезвило воинственного поэта. Он сразу стих и сник и дал себя уложить спать совершенно покорно. Поляков выразил желание заплатить убытки за поверженных негров, но тут выяснилось, что хозяин отеля был поклонником поэзии и, в частности, Бальмонта, что он «считает за честь» посещение его отеля такими знаменитыми людьми и просит считать, что ничего не было. Но сам поэт об этом своем триумфе не узнал – он спал мертвым сном».

Такая вот любовь.

* * *

Именно здесь, за столиком «Альпийской розы» у писателей возникла некая идея – всего-навсего сфотографироваться вместе. Но фотография вышла гораздо значительнее, нежели предполагалось вначале. Иван Бунин писал: «Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

– Почему же это свадьба, да еще собачья? – ответил он своим грубо-наигранным басом. – Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

– А как же это назвать иначе? – сказал я. – Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну».

Вот еще одна из старых добрых традиций, которую мы потеряли, – ездить сниматься в художественный фотосалон. Происходи все это в двадцатом веке – так достал бы Бунин из кармана телефон, подозвал бы официанта, попросил бы его на кнопку нажать – и в тот же день исторический снимок висел бы в сети. Не надо было бы ни типографий, ни сетей распространения полиграфической продукции – кликов было бы больше, чем проданных экземпляров открытки. Правда, и дохода эта операция не принесла бы никому.

* * *

И, разумеется, в «Альпийской розе» устраивали славные новогодние ужины: «Громадная, залитая электричеством елка. Все столы красиво убраны живыми цветами. Гремят два оркестра музыки: 1-го Сумского гусарского полка под управлением г. Маркварта и салонный г. Пакай».

А еще здесь было замечательное пиво, завозимое прямым путем из Мюнхена. Прелестно.

* * *

Кстати говоря, именно здесь служил один из самых колоритных булгаковских героев – Варфоломей Петрович Коротков из повести «Дьяволиада». То есть, не в ресторане, разумеется, а в той организации, которая, по воле сочинителя, въехала в стены ресторана после революции – Главной Центральной Базе Спичечных Материалов. Именно там и приключилось историческое увольнение Короткова: «Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище, совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

«1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий кальсонер»

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царил идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков».

Шустерклуб

Жилой дом (Пушечная улица, 9) построен в 1850-е годы.

Самым колоритным из московских клубов был, конечно же, немецкий. Не потому, что немцы отличались этакой избыточной оригинальностью. И не потому, что пиво было хорошо, хотя оно и вправду было хорошо. И даже не из-за колбас – подумаешь, колбасы, нашли, чем удивить. Дело было даже не в немецких женщинах, хотя – да, женщины.

Просто у дворянской молодежи, а в первую очередь, естественно, военной, был странный обычай – приходить сюда и дурить немцев. Говорить, якобы всерьез, комплименты им самим,

их пиву, их колбасам, женщинам и пр. Приглашать тех женщин танцевать. А после обращаться все это в анекдот. Случалось весело.

Мемуарист А. Д. Галахов так описывал конечный результат подобных шоу: «Я не любил шустер-клуба по причине скандалов, там случавшихся. Каждый раз выводят под руки одного, двух визитеров за учиненные ими дебош или проказу. Вывод совершался просто или торжественно, то есть без музыки или с музыкой (трубным звуком), смотря по важности вины и по желанию виноватого. Справедливость требует сказать, что провинялись по преимуществу русские посетители, которые иногда намеренно выбирали местом своих подвигов Немецкое собрание, зная, что в нем сойдет им с рук то, что никак не сошло бы в Благородном».

Помимо прочих бузотеров в этот клуб ходили спускать пар купцы, настроенные против немцев.

Впрочем, по порядку.

История Немецкого клуба глубока и укутана покровами тайн. Существовал он еще с допетровских времен – в том или ином виде, в том или ином месте. Здесь же клуб обосновался в 1860 году. И только в 1870 году сюда открыли вход для всех граждан всех национальностей (что, собственно, и спровоцировало эти самые курьезы).

Существовал дресс-код. Некий герой забытого теперь писателя Ивана Барышева (псевдоним – Мясницкий), а именно, конторщик Настилкин специально для участия в немецких танцах строил себе специальный костюм: «сшил себе смокинг с шелковыми лацканами, и хоть портной испортил ему этот смокинг, очень окоротив, но все же это смокинг, а не какой-нибудь пиджак, в котором являются некоторые кавалеры Немецкого клуба, нахально выдавая пиджак за смокинг и доказывая это целыми часами дежурному старшине, который не позволяет принимать участие в танцах одетому «не по правилам».

– Разве это смокинг, Давид Абрамыч? – спрашивал старшина.

– Смокинг, – уверял его член клуба. – Я уж знаю, что смокинг, что пиджак, вы уж мне-то поверьте, Пал Палыч!..

– Я верю вам, Давид Абрамыч, но разве смокинги такие бывают?..

– Бывают и такие, Пал Палыч... Не всегда, но бывают, вы уж мне поверьте...

– Гм!.. Хорошо, верю, пусть будет смокинг!..

И Настилкин танцевал в этом смокинге уже несколько раз».

Антон Павлович Чехов был большой любитель поиронизировать при случае над деятельностью этого клуба. В частности, писал в одном из фельетонов: «В Немецком клубе происходило бурное заседание парламента. 62 члена подали заявление, протестующее против забаллотировки 86 кандидатов, не попавших в чистилище только благодаря своим русским фамилиям. Первым делом прочли 3 пар. устава, не возбраняющий русским быть членами, потом начались речи. Поднялся какой-то член с очень кислой физиономией и, прижав руку к сердцу, начал:

– Я, как известно, человек справедливый и... и гуманный, и поэтому буду справедлив... Наш Немецкий клуб играет большую (очень!) роль в обществе и пользуется большим почетом и даже уважением (далее тянется канитель все в том же кадрилино-душеспасительном тоне). За что мы забаллотировали 86 человек? Что они сделали дурного?? (слезы на глазах.) Ничего!!! Остается – русская фамилия!

– Бррраво! Урааа! Верно!!.

– Ведь они наши братья... За что мы их оскорбили?

И в конце концов оратор требует представить «этот вопрос» на рассмотрение властей. Публика соглашается. Другой оратор против обращения к властям. Публика кричит: «брависсимо! веррно!» Потом начинают судить старшину Цине, который 2-го апреля оставался в клубе за картами до 9 часов утра и должен был заплатить 38 руб. штрафа, но уходя велел записать за собой только 90 коп. Гвалт, махание руками, вскакивания, стук кулаком по столу. В конце концов парламентары, оглохнув, охрипнув и с пеною у ртов, уходят восвояси».

Зато драматург Александр Островский, напротив, хвалил этот клуб: «В праздничный день всякого трудового человека тянет провести вечер вне дома; бедная семейная обстановка за неделю успела приглядеться и надоест, разговоры о своем ремесле или о домашних нуждах успели прислушаться. Перекоры, упреки, домашние ссоры, ругань женщин между собою – все эти обыденные явления неприглядной, трудовой жизни не очень привлекательны. Хочется забыть скучную действительность, хочется видеть другую жизнь, другую обстановку, другие формы общежития. Хочется видеть боярские, княжеские хоромы, царские палаты, хочется слышать горячие и торжественные речи, хочется видеть торжество правды. Все это, хоть изредка, нужно видеть ремесленнику, чтоб не зачерстветь в тех дрязгах, в которых он постоянно обращается. Если вечер, проведенный в театре, не принесет хорошему мастеру положительной пользы, то принесет отрицательную. Не будет на другой день тоски, угрызений совести за пропитые деньги, ссоры с женой; не будет нездоровья и необходимости похмелья, от которого недалеко до запоя. Кто приглядывался к жизни этого класса людей, т.е. мелких торговцев, средних и мелких хозяев ремесленных заведений, тот знает, что все их благосостояние, а иногда и зажиточность, зависит от энергии в делах, от трезвости. Трагические рассказы о погибших „золотых руках“, „золотых головах“ так часты в Москве, что они уж от обыденности потеряли свой драматизм. „Золотые были руки, никакому иностранцу не уступит“ (говорят о каком-нибудь часовщике, мебельщике, слесаре и пр.), „сколько денег доставали, зажили было не хуже купцов; да вот праздничное дело – скучно дома-то, завелись приятели и втянули. Стал из дому отлучаться, запивать и по будням, от дела отставать, заказчиков всех помаленьку растерял, да вот и бедствует“. Что ремесленники ищут заменить свое праздничное пьяное веселье каким-нибудь изящным, развивающим ум времяпровождением, это давно известно; известно также и то, что они, к несчастью, не имеют успеха в своих законных стремлениях. Самое богатое ремесленное общество представляет московский Немецкий клуб, он успел накопить большой запасный капитал, имеет обширное помещение и дает драматические представления для своих членов. Но и ему они обходятся так дорого, что он может доставлять подобные удовольствия своим членам не более двух, иногда четырех раз в месяц».

И вправду, в Шустерклубе иногда устраивали драматические представления, из которых некоторые были событиями яркими, заметными. К примеру, «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого с Комиссаржевской в роли Бетси. Маститый актер В. В. Лужский восхищался: дескать, «такой барышней бывшего дворянского круга, и именно круга семей Толстых, Давыдовых, Лопатиных... приблизившихся к разночинству, к влиянию профессорских и докторских кружков, с налетом цыганщины, начинающегося декадентства, – такой Бетси, как В.Ф., не было ни на одной из сцен... Какая и тогда была в этой актрисе загорающаяся и зажигающая окружающих сила!»

Зрители, разумеется, тоже были в восторге.

* * *

Здесь же в 1883 году произошла своего рода сенсация – выставка картин художника В. Верещагина. Сенсационность ее состояла в том, что выставка для более полного охвата посетителей работала до позднего вечера, в связи с чем по наступлении темноты картины освещались электричеством. Сам Павел Яблочков, известный как изобретатель электролампы (или, как в то время говорили, «свечи Яблочкова»), разрабатывал систему освещения для этой выставки.

С этой выставкой связан еще один курьез. Верещагин сам назначил за билет скромную, если не сказать символическую, плату – всего лишь 5 копеек. Вроде как для того, чтоб выставка стала доступной для самого широкого круга любителей, в том числе и малоимущих. Затея удалась. Верещагин писал Григоровичу, что среди посетителей был замечен народ «преимущественно мастеровой, на выставки обыкновенно не ходящий, что мне лестно». Это, впрочем, было грамотно и с точки зрения коммерческой. В первый день на выставке побывала тысяча

человек, а во второй – две с половиной тысячи. Кроме того, каждый день продавалось около тысячи каталогов. Сработал известный закон – создавать продукцию для бедных выгоднее, чем для богатых.

Однако это показалось оскорбительным московскому бомонду. Художник писал В. В. Стасову: «Кажется, здесь озлились на мою цену – 5 копеек. Долгоруков хотел приехать, назначил время и не приехал, когда стала известна эта обидная цена, конечно, его уверили, что тут кроется пропаганда и прочее – черт бы побрал всех идиотов и мудрецов».

Впрочем, всерьез репутации В. Верещагина это не повредило.

* * *

Одним из колоритнейших завсегдатаев Шустерклуба был некто И. И. Смирнов, издатель так называемой «Русской газеты». По утверждению В. А. Гиляровского, он весь доход от газеты спускал в клубе в карты и платил своим сотрудникам только тогда, когда выигрывал. А выигрывал он крайне редко.

Владимир Алексеевич описывал это издание в таких словах: ««Русская газета» – было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н. И. Пастухов; но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство...

Хозяйственной частью ведал соиздатель И. М. Желтов, одновременно и книжник, и трактирщик, от которого зависело все дело, и он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

– За что? У тебя фирма есть – тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась получать от И. И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколиха», Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки».

Самыми же колоритными сотрудниками были двое: «Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, – чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее, и Козина любили все. Придет

в редакцию – и всем весело. Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

– Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

– Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

– Мосява Мосявовна, сообразовите ножку дать, – и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу».

Такое вот достойное издание.

* * *

Кстати, в том же здании располагался книжный магазин с библиотекой Анатолия Черенина – один из самых популярных в городе, в первую очередь у молодежи. Петр Черенин, родственник книготорговца, отзывался между делом о московском предприятии Анатолия Федоровича: «Все отделано под орех. Товар в магазине чистый, а в библиотеке книг очень довольно».

Книготорговец был не прост. Придумывал свои особые ноу-хау: «Для успешной торговли книгами нужно не только знать им цену, исправно выполнять требования, производить быстрые торговые обороты и т.п., но еще необходимо приохочивать покупателей к покупке книг, заинтересовывать их полезными для них произведениями, применяясь к их потребностям, наклонностям, образованию, а для этого книгопродавец должен возвыситься до полного понимания окружающей его среды, до горячего участия в ней, т.е. он должен иметь образование и предаться своему делу с полною и искреннею любовью».

Правило, казалось бы, ну совершенно очевидное: любой торговец понимает, что необходимо создавать моду на свой товар. Но книга в России – особый предмет. И в скором времени у Анатолия Федоровича начинаются легкие трения с властями. Неопределенные, невнятные, но от того не менее обременительные. В частности, в 1866 году на Черенина пишут донос – дескать, его покупатели «навлекают какое-то сомнение в отношении политической благонадежности, чему служит доказательством то, что большая часть арестованных лиц были постоянными посетителями и подписчиками».

В результате был предпринят обыск, и в библиотеке и впрямь обнаружилась нелегальная литература. Следствие длилось долго, больше года. И в результате летом 1867 года магазин с библиотекой закрываются. Бедному книготорговцу приходится подписывать довольно неприятную бумагу: «Я, ниже подписавшийся, дал сию подписку Господину Полицмейстеру 1-го отделения, что я согласно предписанию господина обер-полицмейстера от 16 сего июня за №1504-м обязуюсь в оставшиеся незапечатанными двери никого для чтения не впускать и вообще не производить торговли книгами, журналами и другими сочинениями, равно имеющую мою вывеску над магазином снять».

Самого же Черенина вскоре выслали в Пензу. Впрочем, спустя год он возвращается и спустя некоторое время поступает в качестве приказчика в свой бывший магазин, доставшийся, по счастью, не кому-нибудь, а его падчерице, Люде Поздняковой.

* * *

С началом Первой мировой войны клуб, как и упомянутый уже отель «Берлин», был реорганизован – по контрасту в клуб Славянский. А после революции здесь разместилась новая организация – Клуб коммунальников. Его открытие было событием. Газеты сообщали: «В здании Славянского клуба состоится открытие клуба Центрального Союза всех Местных Комитетов городских служащих и рабочих».

Повестка дня:

1. Вступительная речь Председателя Центрального Совета.
2. Исполнение международного гимна рабочих (Интернационал), исполнение похоронного марша в память павших жертв за свободу (Вы жертвою пали) (играет оркестр, поют все присутствующие).
3. Речь о значении клубов как очагов культуры – просветительской деятельности в рабочей среде.
4. Доклад Председателя культурно-просветительской комиссии о деятельности последней с начала ее функционирования до последних дней.

5. Приветственные речи представителей Совета Рабочих депутатов, Профессиональных Союзов, Политических партий и Местных Комитетов Центрального Союза».

Славянский клуб на правах старшего пытался ограничить права новоявленной организации: «Правление Славянского клуба отдает в пользование правлению Центрального Союза часть своего помещения в доме Захарьиных по Рождественке, а именно: зрительный зал со сценой и боковым фойе с прилежавшими уборными». И больше ничего. При этом «право пользования парадным входом со стороны Софийки правлению Центрального Союза не предоставляется». Ходить следовало со двора, что при новой власти становилось, в общем-то, привычным делом – даже в жилых домах парадные подъезды запирались, люди пользовались более демократичной «черной лестницей».

* * *

В 1939 году в доме на Пушечной разместился Центральный дом работников искусств – ЦДРИ, переехавший сюда из более тесного помещения. Владимир Яковлевич Хенкин шутовал: «Мне говорили: «Как хорошо, что клуб переехал на Пушечную. Вот теперь вы отоспитесь!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.